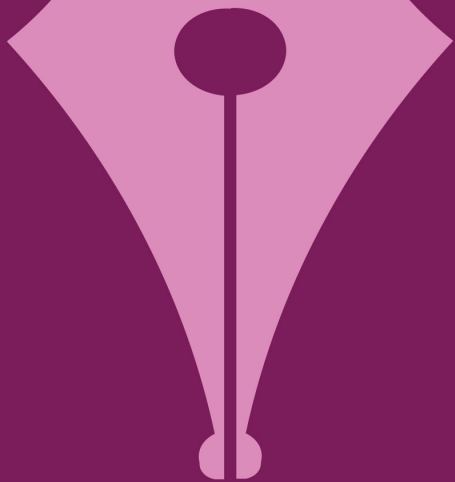


ИВАН БУНИН



ШАЛЯПИН

**Иван Алексеевич Бунин**  
**Шаляпин**  
Серия «Воспоминания»

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=173174](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173174)*

*Окаянные дни: Эксмо; М.; 2006*

*ISBN 5-04-002265-4, 5-699-19418-5*

# Иван Бунин

## Шаляпин

В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком», — пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходиться с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

— Да за чем же дело стало?

— За тем, — отвечал он, — что Чехов нигде не показывается, все нет случая представиться ему.

— Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему...

Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать... А вышел от него в восторге:

– Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

– Спасибо, – сказал я, смеясь.

Он захохотал на всю улицу.

Есть знаменитая фотографическая карточка, – знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысяч экземпляров, – та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

– Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба.

Скиталец обиделся.

– Почему же это свадьба, да еще собачья? – ответил он своим грубо-наигранным басом. – Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.

– А как же это назвать иначе? – сказал я. – Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «ре-

ет буревестник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и Стрельне...

Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех, Шаляпин закричал:

– Bravo, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер и крышка ему.

– Да, – подхватил Горький, – писал, писал – и околел.

– Как, например, я, – сумрачно сказал Андреев. – Околею в первую голову...

Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.

\* \* \*

Все считали Шаляпина очень ленивым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривал нечто революционное, сатанинское, издевательство над королями:

Жил-был король когда-то,

При нем блоха жила...

И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем, – по всей России прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпиным не было конца-краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем прегрешении!

– А как же мне было не стать на колени? – говорил он. – Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косой скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!

\* \* \*

В России я его видел в последний раз в начале апреля 1917 года, когда уже приехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном собрании в Михайловском театре, где Горький должен был держать

речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю, не помню, почему мы с Шаляпиным получили приглашение на это во всех смыслах нелепое собрание. Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:

– Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:

– Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

– Вот, брат, какое дело: и петь нельзя, и не петь нельзя, – ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.

И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. Зато в конце концов ухитрился сбежать от них.

\* \* \*

В июне тридцать седьмого года я слушал его последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором

Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всех своих выступлениях, – это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, – войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал бы):

– Ну что, как я пел?

– Конечно, превосходно, – ответил я. И пошутил: – Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.

– Спасибо, милый, пожалуйста, подпевай, – ответил он со смутной улыбкой. – Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы – это, брат, первое дело. А ты на лето куда?

Я опять пошутил:

– Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он опять улыбнулся, но очень рассеянно.

Ради чего дал он этот последний концерт? Ради того, ве-



роятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил говорить:

– Бесплатно только птички поют.

\* \* \*

В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины, – навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под тяжелым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым над лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая севернорусская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся.

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:

– Нет, он поет слишком громко.

Есть еще и до сих пор множество умников, искренне убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам

шляпинского голоса, шляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, – высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на эту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, – ему было тогда лет двадцать пять, – особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его не видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!

– Слава подобна морской воде, – чем больше пьешь, тем больше жаждешь, – шутил Чехов.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:

– Вот посмотри, какой у меня был родитель. Драл меня нещадно!

Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усомнился:

точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нешадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного»... Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не Бог вещь какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаниях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, – например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении:

– Пой, Федя, – на душе веселей будет! Песня – как птица, выпусти ее, она и летит!

И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, – от приятельства с кузнецом до приятельских обещаний с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношениях: поистине дал ему Бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.

\* \* \*

Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью,

хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме напротив Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр – и вдруг взмах-

нул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской» милости! Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал таким волжским тенорком:

– Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.

– Не забывай, – сказал я, – что живу я на пятом этаже и не так мал.

– Ничего, милый, – ответил он, – как-нибудь донесу!

И, действительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца – потребовал в номер бутылку «столетнего» бургонского за целых сто рублей (которое оказалось похоже на малиновую воду).

\* \* \*

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: трагил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, – и чаще всего самыми крепкими, жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче

по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:

– Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!

– Ты умный, Ваня, – ответил он сладким говорком, только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.

– Надоел ты мне со своей Русью! – сказал я.

– Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты, гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?

– За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, – помни, кто ты и кто они.

– Чем же я от них отличаюсь?

– Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только «литература», а часто даже лубочная, твой же голос, во всяком случае, не «литература».

– Пьяные, Ваня, склонны льстить.

– И то правда, – сказал я, смеясь. – А ты все-таки замолчи и запахнись.

– Ну, ин будь по-твоему...

И, запахнувшись, вдруг так рывкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.

\* \* \*

В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радушного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтения, – хотя терпеть не мог слушать, – иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел – то народные русские песни, то французские шансонетки, то «Блоху», то «Марсельезу», то «Дубинушку» – и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

– Братцы, петь хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

– Петь до смерти хочется! Возьми лихача и немедля приезжай. Будем петь всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки, легко представить себе, что это за вечер был – соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:

– Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание... Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:

– Помнишь, как я пел у тебя на Капри?

Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

– Неплохо пел! Дай бог так-то всякому!

*1938*